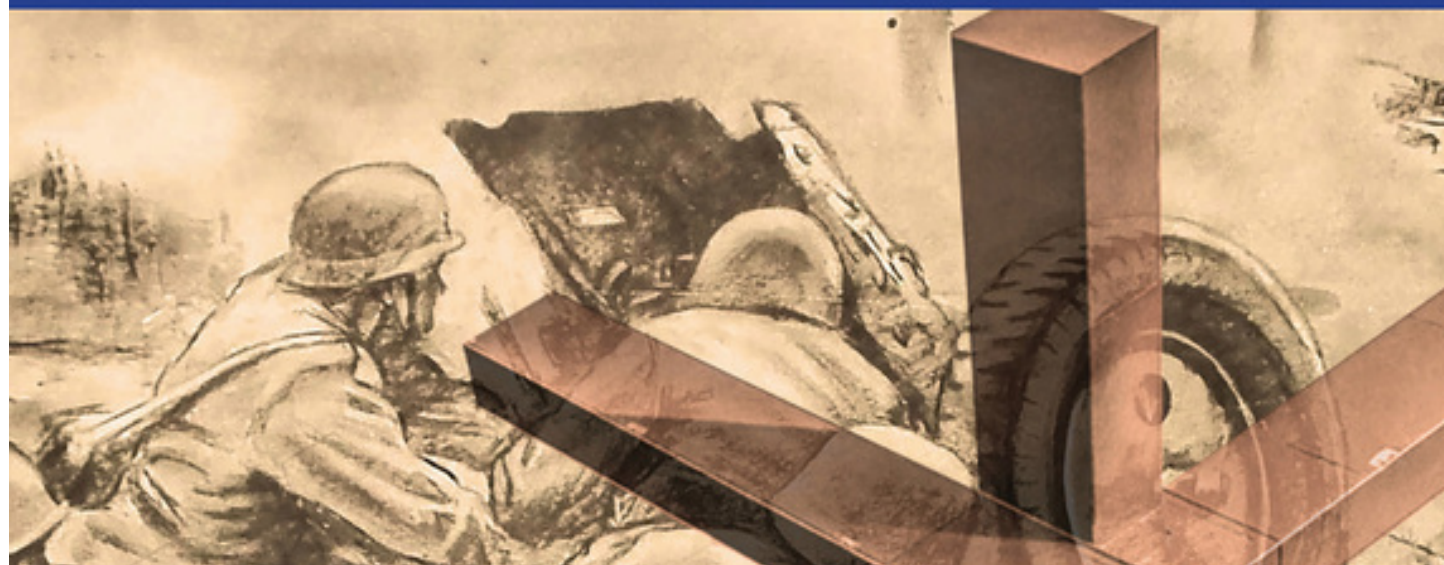


Константин Симонов

Дым отечества

ФТМ



Константин Симонов

Дым отечества

«ФТМ»
1946-1956

Симонов К. М.

Дым отечества / К. М. Симонов — «ФТМ», 1946-1956

«... Услышав сейчас эти тяжелые хозяйские шаги, Басаргин отчетливо вспомнил один старый разговор, который у него был с Григорием Фаддеичем еще в тридцать шестом году, когда его вместо аспирантуры послали на два года в Бурят-Монголию. – Не умеешь быть хозяином своей жизни, – с раздражением, смешанным с сочувствием, говорил тогда Григорий Фаддеич. – Что хотят, то с тобой и делают, как с пешкой. Не хозяин. Басаргину действительно тогда не хотелось ехать, но он подчинился долгу, поехал и два года провел в Бурят-Монголии. И всю дорогу туда, трясясь на верхней полке, думал, что, пожалуй, Григорий Фаддеич прав. А потом забыл об этом. А сейчас, когда вспомнил, уже твердо знал, что прав он, а не Григорий Фаддеич, и что именно он, Басаргин, был хозяином своей жизни. Был хозяином потому, что его жизнь в чем-то самом для него важном всегда шла так, как, по его взглядам, должна была идти. А главное – шла так, как ему хотелось, чтобы она шла, когда он думал о своих идеалах. А Григорий Фаддеич, о котором, поверхностно судя, легче всего было сказать, что он-то и есть хозяин своей жизни, ибо он все делает так, как ему хочется и как ему удобно в данную минуту, – не был хозяином своей жизни, потому что жил, не имея идеала, который повелевал бы ему делать то или другое или примирял его с той или другой трудной необходимостью. В сущности, он был не больше чем раб своих ежедневных страстей, привычек и желаний. ...»

© Симонов К. М., 1946-1956

© ФТМ, 1946-1956

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	20
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Константин Михайлович Симонов

Дым отечества

Глава первая

Холодным мартовским утром тысяча девятьсот сорок седьмого года Петр Семенович Басаргин, отвоевав три года на войне и прослужив еще три года за границей, возвращался наконец домой, в отпуск.

Было одиннадцать утра. До Пухова – районного городка, примерно на полпути между Москвой и Смоленском, оставался еще час пути. Басаргин уже собрал вещи, закрыл на все замки чемодан, почистил щеткой костюм, пальто и шляпу и сейчас, стоя перед зеркалом в раскачивавшемся вагоне, еще раз причесывал мокрые волосы и внимательно рассматривал себя. В тусклом вагонном зеркале отражался человек лет тридцати пяти, хорошо одетый и чисто выбритый. Худощавое, замкнутое лицо выглядело особенно загорелым из-за пшеничных волос и светло-голубых, казалось, слегка выгоревших глаз; привычка щурить их порой придавала лицу насмешливое и даже дерзкое выражение. Была и еще одна подробность, нарушавшая первое впечатление от аккуратной внешности Басаргина, – это наперекор всему торчавший откуда-то сбоку жесткий вихор волос, с детства не поддававшийся ни прическам, ни стрижкам. Катя, жена Басаргина, не раз говорила, что этот занимательный вихор и есть настоящая его душа, которую он неведомо зачем прячет от людей под своей привычной сдержанностью. Пожалуй, в этом была доля правды.

Вспомнив о Кате, он сильно и с огорчением потер пальцами тонкие темные полоски, шедшие у него от глаз к ушам, – след очков. Он уже второй год носил очки. Правда, он надевал их, только когда читал, но у него была привычка ежедневно и много читать, и полоски от очков становились все заметней.

Ему хотелось заново понравиться Кате, и это чувство все усиливалось у него по мере приближения к дому.

Закрыв глаза, он подумал о том, как он ее поцелует. И сейчас же вспомнил ее лицо таким, каким оно было в минуту их прощания, почти три года назад. Он помнил много разных ее лиц: недовольное, улыбающееся, печальное, озабоченное, умиленное; но это лицо в минуту прощания осталось для него навсегда самым любимым.

Они расстались в мае сорок четвертого года в Бессарабии, на аэродроме в Бельцах. Он привез ее с фронта на «виллисе». Оставалось два месяца до родов, но ее беременность все еще была почти незаметна, и она сердилась, что он отправляет ее в тыл слишком рано.

Всю дорогу, сидя на переднем сиденье, между ним и шофером, она молчала. Только на крутом повороте, когда их тряхнуло и он, примостившийся, чтобы не стеснить ее, на самом краешке сиденья, чуть не вылетел из машины, она, вскрикнув, крепко обхватила его шею обеими руками, но тотчас же отпустила и опять безучастно молчала до самого аэродрома.

На аэродроме целый час, оставшийся до отлета, она коротко и однообразно отвечала на его вопросы, ни разу не подняв упрямо опущенных глаз.

Уже пробовали моторы. Он отнес ее чемодан в самолет и вернулся, а она все с тем же безучастным выражением стояла у лесенки, опустив голову.

– Пора, – сказал бортмеханик.

Тогда она подняла голову и, закинув руки за плечи Басаргина, но не прижимаясь к нему, долго смотрела на него, с расстояния вытянутых рук, словно издалека, запоминая его лицо.

А он тоже, покоренный ее взглядом, не пытаясь приблизить ее к себе, читал на ее лице такую печаль и боязнь разлуки, что ему хотелось опуститься на землю и, обняв колени жены, целовать их сквозь пыльную шинель.

На потемневшем от пыли Катином лице глаза казались особенно большими и неподвижными, похудевшую шею с маленьким шрамом от осколочного ранения обнимал ставший широким воротник гимнастерки...

Один из моторов дал полные обороты. У Кати выскочили шпильки, и ее темные волосы полетели вверх и так и остались в струе воздуха, летящие и в то же время остановившиеся на месте. Но она не обращала на них внимания и продолжала смотреть на Басаргина.

Таким он и запомнил ее лицо: печально сжатые губы с обветренными трещинками, неподвижные глаза и летящие волосы.

Пройдясь два раза по коридору вздрагивавшего на стыках вагона, Басаргин вернулся в купе и присел у окна.

Было холодно. Старый вагон насквозь продувало зимним ветром, и муж и жена, занимавшие две нижних полки, ворчали, что лучше бы они ехали жестким: там больше народу и поэтому теплее.

Басаргин смотрел через окно на однообразно летевшее навстречу белое поле и думал о своей жизни.

Жизнь эта началась здесь, на Смоленщине, тридцать четыре года назад, и сейчас, после всех скитаний, круговорот ее приводил его сюда же, на прежнее место.

Мать он не видел гораздо дольше, чем жену, – почти шесть лет.

Из писем было известно немного: что дом, в котором они жили в Смоленске, сгорел; что мать была у партизан, а теперь живет у Елены – старшей дочери – в Пухове и там же учительствует; что муж Елены, Григорий Фаддеич Кондратов, воевал, но в сорок третьем демобилизовался и сейчас, как и до войны, работает по строительству; что Шурка – младший брат – вернулся с фронта инвалидом без руки и учится в Смоленске, в том самом институте, где до войны преподавал Басаргин. Как почти в каждой семье, были невозвратимые потери. Погиб в московском ополчении младший брат матери, дядя Вася, и уже в самом конце войны был убит Анатолий – сын Григория Фаддеича от первого брака. Он служил в авиации, и ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Это было все, что знал Басаргин о судьбе своих родственников.

О Кате он знал немногим больше из десятка писем, в разное время полученных им в разных местах земного шара. Он знал, что она родила ему сына, живет теперь вместе с его матерью и работает хирургической сестрой в железнодорожной поликлинике. Письма Катя писала короткие и странные; они были похожи на лицо человека, сияющего не расплакаться.

Иногда Басаргину казалось, что они такие потому, что она слишком сильно любит и не может жить без него. Тогда он вспоминал ее лицо в минуту прощания и успокоенно думал, что ее письма похожи на это молчаливое лицо. Иногда же неизменные заключительные строчки каждого письма: «Будь здоров. Гриша и я крепко целуем тебя» – приводили его в бешенство и представлялись ему безнадежно высокой и длинной каменной стеной, которую он не может ни перелезть, ни обойти, чтобы узнать, что происходит за ней.

Уже скоро два года, как кончилась война, а он еще только возвращался домой. Неожиданные обстоятельства вторглись в судьбу Басаргина, изменив ее самым непредвиденным образом почти сразу же после отъезда Кати с фронта.

За полночь, когда он, маясь от духоты, лежал в траве, которая с буйной силой покрывала все – и старые воронки, и свежие вмятины от колес орудий, – раздался рев снижающегося самолета и вслед за этим оглушительный скрежет, такой, словно по гигантскому камню провели громадным железным скребком.

Американский бомбардировщик, совершавший челночный перелет из Италии в Полтаву, сделал вынужденную посадку на кукурузном поле, в полуверсте от позиций противотанкового артиллерийского дивизиона, которым командовал Басаргин.

С этого все и началось. Внезапно выяснилось, что Басаргин, первым приютивший летчиков, знает английский язык лучше всех в корпусе, и ему приказали отвезти американцев в штаб фронта. На первый случай дело тем и ограничилось, и сам Басаргин быстро забыл об этом маленьком происшествии. Но тем временем уже кто-то вспоминал об артиллерийском майоре, хорошо знавшем английский язык. Где-то за двести верст от него, в отделе кадров фронта, извлекалась из сейфа анкета: высшее законченное, Ленинградский политехнический, знание языков: английский – хорошо, французский – слабо. И взятая на заметку анкета откладывалась в сторону, и лист, на котором фамилия Басаргина была напечатана на машинке рядом с другими, уже заключался в коленкоровую папку с надписью: «На доклад». Резолюция синим карандашом: «Утверждаю», резолюция красным карандашом: «Согласен». Союзники высаживались в Марселе; мелкий и твердый канцелярский почерк бесповоротно бежал по бланку с маленькой красной звездой, выводя: «Откомандировывается в распоряжение комиссии по делам репатриации».

В сентябре 1944 года, за трое суток пролетов через Иран, Египет, Алжир и Средиземное море, майор Басаргин вечером четвертого дня вылез из самолета на большом травянистом аэродроме недалеко от Марселя.

У него слегка кружилась голова, больше от избытка впечатлений, чем от усталости. Было тепло и необыкновенно тихо – он услышал, как что-то, не то жук, не то пчела, прожужжало над головой и упало в траву. Синее небо стояло неподвижно и томительно, как на картинках, поднимаясь прямо вверх от самой земли. Басаргин снял фуражку и, перевернув, устало вытер клеенку носовым платком.

Его дивизион дрался сейчас где-то под Плоешти. Очевидно, так. Если вечером не было боя, то начальник штаба обычно в это время, в двадцать часов, садился за донесение. Впрочем, все это теперь не имело к Басаргину никакого касательства. Он еще раз вытер платком свою новенькую фуражку, пренебрежительно щелкнул по ее щеголевато блестящему козырьку и надел на голову. Старая, фронтовая жизнь кончилась. Начиналась новая, неожиданная и еще не совсем понятная, и кто знает, что ожидало его в этой жизни.

По аэродрому, ныряя, как бегущая в траве собака, ехала маленькая открытая машина. За рулем сидел офицер в советской форме, в такой же новенькой фуражке и с такими же золотыми погонами, как у Басаргина. Он правил одной рукой, а другой размахивал и что-то кричал Басаргину.

Таким и запомнилось начало новой жизни: ослепительно-синее небо, зелено-желтое выжженное поле аэродрома и прыгающая в траве маленькая черная машина...

В этих первых минутах на французском аэродроме не было ничего примечательного; они остались в памяти просто потому, что были первыми, и еще потому, что из всего клубка воспоминаний последних лет они торчали, как кончик нитки, с которого, чтобы не запутаться, следовало начинать разматывать все. Тысячи и тысячи километров были намотаны в этом клубке вкривь и вкось с грубой поспешностью военного времени. Белые дороги Франции, свинцовые шоссе Германии, черные каналы Голландии, зеленые, в белой пене, валы Атлантики и, наконец, разлинованные автострады Америки. Басаргину иногда начинало казаться, что его память стала шумным перекрестком, через который по всем этим дорогам, сталкиваясь и налетая друг на друга, неслись воспоминания.

Вскоре после окончания войны он был демобилизован, но поехал не домой, а в Вашингтон, в закупочную комиссию. Причин на это было несколько сразу: и действительное, а не только по анкете хорошее знание языка, и уже приобретенный опыт зарубежной работы, и, главное, старая довоенная специальность. До войны он читал курс технологии

металлов, и его послали в Америку сменить уезжавшего оттуда работника, занимавшегося закупкой и приемкой проката и метизов.

Басаргин не принадлежал к числу тех очутившихся за границей людей, у которых инстинктивное неприятие всего окружающего превращалось в шоры, мешавшие им видеть и узнавать незнакомый мир.

Шорами прикрывают глаза лошади, чтобы она не пугалась незнакомого и чужого. Людей, добровольно надевавших шоры, Басаргин считал отчасти трусами, отчасти душевными лентяями. Безоговорочная похвальба всем своим и такое же безоговорочное осуждение всего чужого не были в глазах Басаргина свидетельством душевной силы, а, наоборот, казались ему признаком слабости этих людей. Им не доставало сознания своего духовного превосходства над чужим миром, обладая которым можно было, не роняя собственного достоинства, признавать, что американские автострады или кинематографы с охлажденным воздухом – отличные вещи, и жаль, что мы еще не имели возможности завести такие же у себя. Вспоминая родину, они хвалили все без исключения, поэтому им не верили. Впрочем, большею частью они предпочитали отмалчиваться и не ввязываться в споры.

Когда же они все-таки спорили, то спор слишком часто переходил в полусутольное бахвальство русской баней, икрой, блинами и водкой.

Басаргина это неизменно приводило в ярость; и хотя сами эти люди вовсе не за это любили свою страну и знали о ней в сто раз больше того, что о ней говорили, но он, может быть, именно поэтому считал особенно унижительным их бессмысленное потакание чужим и бессмысленным представлениям о России.

Однажды после большого ноябрьского приема в посольстве Басаргин поссорился из-за этого с Николаевым, таким же, как он, демобилизованным майором, своим сослуживцем по закупочной комиссии.

Вернувшись к себе в общежитие, они полураздетые сидели друг против друга на кроватях и, механически продолжая раздеваться, яростно спорили.

– Нашел чем похвастаться, говоря о социалистическом государстве, – баней и блинами, – говорил Басаргин, со злостью расшнуровывая ботинки.

– А что же мне этому стальному королю, который не стесняется вспомнить, как он до войны к Гитлеру в гости ездил, – историю партии, что ли, ему рассказывать?

– Не знаю. Знаю только одно: всегда надо оставаться самим собой!

– Слушай, – стянув через голову рубашку, сказал Николаев, – а у него даже рожа добродушной стала, когда я ему насчет блинов вернул. Ей-богу!

– Ясно, добродушной! – Басаргин швырнул под кровать ботинки так далеко, что утром ему неминуемо предстояло ползать за ними на животе. – Ясно, добродушной! – повторил он. – Советский Союз с одними банями и блинами его не тревожит!

– Отстань! – сказал Николаев, залезая под одеяло.

– Не отстану!

– А какой смысл лишний раз красным платком махать перед таким быком, как этот Стенли? – лениво из-под одеяла отозвался Николаев.

– Знамя – не носовой платок, его по карманам не прячут!

– С тобой не сговоришься, – сказал Николаев после паузы и, подумав, добавил: – Трудно тебе тут с людьми разговаривать – тут дипломатия нужна, а ты не умеешь.

– Почему не умею? Умею, – сказал Басаргин, задетый за живое. – Но только я не считаю, что верх дипломатии – это пить водку в обнимку с кем придется.

– Ну что же, они это уважают.

– А я не хочу, чтобы меня уважали только за то, что я могу стаканами пить водку, а главное, чтобы меня считали дураком.

– Ну что же, иногда и это полезно.

– Нет, это всегда вредно. Извини меня, не мог на тебя сегодня вечером равнодушно смотреть. Ты весь вечер прикидывался дурачком и купчиком.

– А ты что же советуешь – откровенничать с кем попало?

– Я тебе ничего не советую. Я просто хочу, чтобы каждый, кто разговаривает с тобой или со мной, чувствовал, что я – человек из Советского Союза и что я горжусь у себя в России не баней и икрой, а кое-чем другим. Уж во всяком случае – в первую очередь!

Николаев ничего не ответил. Он молча лежал, глядя в потолок, и ожесточенно крутил двумя пальцами уголок воротника своей полосатой американской пижамы.

Басаргин подумал, что он обиделся, и, помолчав с минуту, окликнул его:

– Ваня!

Николаев молча потянулся, схватился сильными волосатыми руками за спинку кровати так, что она затрещала, и сел, опустив босые ноги на пол.

– К черту! – тихо сказал он. – Не могу больше. Домой хочу!

И такое мучительное нетерпение было в его словах, что Басаргин тоже невольно вскочил и сел на кровати.

– Два ходатайства подавал, – продолжал Николаев. – Не к жене, не на печку, – куда угодно: на Кушку, на Курильские острова, к черту в ступу! Только чтоб среди своих жить. И не нужно мне всех этих здешних грейпфрутов и яблочных пирогов, проживу и без них, пока не разбогатею, и работать буду хоть по двенадцати часов – только давай! И Америку эту даже не вспомню – бог с ней! Хочешь – верь, хочешь – нет.

– Почему ж не верить? Верю, – сказал Басаргин. – Но работа... неужели тебя совершенно не интересует заграничная работа?

– Вот ни настолько, вот на четверть пальца не интересует! И черт меня дернул когда-то английский язык учить! Не было бы этого чертова пункта в анкете – до конца войны бы воевал и дома уже был!

Николаев заснул или, может быть, сделал вид, что спит. А Басаргин долго еще лежал с открытыми глазами и смотрел в окно, из которого в эту лунную ночь был хорошо виден белый купол Капитолия.

Николаев был по-своему прав, посылая ходатайства. Ему и в самом деле лучше ехать домой.

Но вот он, Басаргин, жалеет ли он, что этот пункт, с английским языком, оказался в его анкете? Первое время ему порой до отчаяния ясным казалось: да, жалеет, очень жалеет, и никогда не перестанет жалеть! Он тосковал по всему сразу: по жене, по русским лицам, по русской природе, по русской печи. Его удручала неопределенность срока работы, то, что нельзя было даже отсчитывать оставшиеся до возвращения или хотя бы до отпуска дни.

Он с трудом привыкал к чуждой ему системе отношений между людьми, к разрозненности людских интересов, к слову «выгодно» вместо слова «нужно», к тому, что некому было сказать: «Давайте возьмемся, товарищи», и, наконец, к тому, что логика справедливости пасовала здесь перед логикой денег почти всякий раз, когда дело переходило от мелочей к чему-нибудь крупному.

Но еще трудней привыкал он к той двойной бухгалтерии в оценке потерь и страданий народов, в существование которой он не хотел верить, командуя своим противотанковым дивизионом.

В июне сорок пятого года, еще в Нюрнберге, сидя рядом с Басаргиным в баре и почти не стесняясь его присутствия, двое журналистов и офицер из английской разведки спорили о достоверности официально сообщенной русскими цифры потерь – семь миллионов убитых. Смысл их спора не оставлял сомнений: им хотелось, чтобы официальные сведения оказались преуменьшенными.

– Но если даже их данные точны, – в заключение сказал один из журналистов, – то семь миллионов тоже порядочно. – Он выговорил это с нескрываемым удовлетворением.

Басаргину хотелось ударить этого человека. Но это было бы как раз то, чего он не имел права делать. Однако и промолчать было выше его сил. «Да и почему, собственно, надо молчать?» – подумал он и, повернувшись вместе с табуретом к своим соседям, побледнев, сказал, тщательно выговаривая английские слова:

– Вы сначала на два года позже, чем могли, открыли второй фронт, дождавшись того, чтобы мы успели потерять эти семь миллионов, а теперь пытаетесь свысока разговаривать с нами на мирных конференциях только потому, что мы потеряли в семь раз больше, чем вы. Ваша программа не удастся, можете быть уверены.

Наступило молчание. Потом английский офицер, почувствовав неловкость, примирительно сказал:

– Давайте лучше выпьем, майор! Заниматься всеми этими счетами – не наше с вами солдатское дело.

Басаргин отхлебнул глоток разбавленного водой виски, вихор на его голове запальчиво взъерошился.

– По-солдатски я бы поговорил с вашими солдатами, которые дрались и умирали в Дюнкерке. А с вами у нас, после того, что я слышал, какие уж тут солдатские разговоры! За здоровье ваших, оставшихся в живых соотечественников! В противоположность вам, я бы не хотел, чтобы солдатских могил оказалось больше, чем пишут в газетах. Нигде, в том числе и у вас! – Он большим глотком опорожнил свой стакан, встал и, поклонившись, пошел к выходу.

Это была только одна из многих встреч и один из многих разговоров. Они утомительно повторялись.

– Это правда, что у вас разрушено более тысячи городов?

– Да, это правда.

– Абсолютная правда? Без преувеличений?

– Да.

– Вам будет очень трудно самим все это восстановить.

– Да, нам будет очень трудно.

Собеседник – представитель фирмы, изготавливающей стальные цельнотянутые трубы. Фирма уже поставила первую партию труб для газопровода Саратов – Москва. Из-за спешности заказа за трубы было заплачено дороже, чем обычно. Представителю фирмы хочется спросить Басаргина: что этот заказ – случайность или система? Но деловой такт не позволяет ему задать такого вопроса, и он только, присвистнув, повторяет:

– Тысяча городов, это здорово много!

Басаргин видит его довольное лицо и вспоминает зимние развалины только что освобожденного Ростова, сквозные обледенелые коробки домов, пустую мертвую улицу и одинокого мужчину, бредущего с санками по мостовой. Мужчина налегает грудью на веревку, санки скользят и едут боком; на них стоит маленький детский гроб, сколоченный из двух фанерных ящиков. На фанере надпись: «Папиросы «Дукат». Ростов-на-Дону».

– Что вы замолчали? – спрашивает Басаргина его собеседник.

Басаргин смотрит ему в лицо и молчит.

И уже перед самым отъездом из Америки – на этот раз собеседником Басаргина оказывается видный журналист. Разговор заходит о хлебе.

– Говорят, что у вас в этом году небывалый неурожай. Что такого не было пятьдесят лет. Да?

Басаргин подтверждает.

– Я слышал, что у вас уже сократили нормы выдачи хлеба. Вам будет очень трудно с хлебом в этом году.

Басаргин следит за лицом собеседника. Тот с торжествующей бесцеремонностью продолжает развивать мысль о возможности голода в России и даже не дает себе труда выразить на лице сочувствие.

Басаргин встречается с этим журналистом уже не в первый раз и знает, что он не садист и не убийца, что он не ест детей и не убивает женщин; напротив, он, как говорится, вполне порядочный человек, участвовал в войне, был ранен и потерял на Филиппинах сына. Но ему доставляет удовольствие мысль о возможности голода в России. Ему кажется, что недостаток хлеба в России даст лишние аргументы для жестких разговоров с русскими.

– Вы согласны со мной, что ваше положение с хлебным балансом будет очень трудным? – заключает журналист.

– Да, но я не люблю, когда о страданиях моего народа говорят улыбаясь.

– Честное слово, вам это показалось.

– Нет, это вам показалось, что мы продадим социализм за чечевичную похлебку. А мы не продадим, мы им не торгуем, – в свою очередь через силу улыбаясь, говорит Басаргин.

Да, поистине, если вспомнить эти годы – они были жестоким воспитанием воли.

Некоторые не выдерживали. Одни, как Николаев, не стыдясь, просились домой; другие, стараясь не замечать никого и ничего, кроме своих, при всякой возможности запирались в четырех стенах и молча считали дни, оставшиеся до возвращения на родину.

В первое время Басаргин переболел и той и другой болезнью. Потом это прошло; в душе оставались и досада и горечь, но одновременно с ними рождалось веселое и злое сознание своей все возрастающей силы перед лицом этих трудных, а подчас и открыто враждебных обстоятельств. Он вошел во вкус повседневной работы, встреч, споров и – если его вызывали на это – прямой борьбы с людьми, искавшими выгодную для себя сторону в потерях и несчастьях его родины.

Он бывал счастлив всякий раз, когда при закупках ему удавалось выгадать лишнюю тысячу долларов. Он торговался, как маклак, свирепо и настойчиво до неприличия.

Случалось, что ему укоризненно говорили:

– У вас богатая страна.

– Да, – отвечал он, – но я скуп от природы, я люблю торговаться.

Он безбожно врал: он никогда в жизни не любил и не умел торговаться. Его личные покупки в Америке неизменно вызывали смех у товарищей. Шло ли дело о шляпе, сорочке или чемодане, он все покупал не так, не там и втридорога.

Но это было одно, а его работа – совсем другое. Закупая оборудование для советских заводов, он участвовал в борьбе за то, чтобы поскорей восстановить все разрушенное на его глазах войной и скорбно и ревниво сохраненное им в памяти артиллерийского офицера, прошедшего со своими пушками от границы до Терека и обратно. Каждая сэкономленная им тысяча долларов была его маленьким личным вкладом в эту борьбу. Он не думал ни о благодарности, ни о поощрении. Он не мог действовать иначе – он просто удовлетворял свою потребность бороться, воевал, как мог, и это придавало его служебным успехам оттенок личного счастья.

Последние воспоминания Басаргина были связаны с пароходом, на котором он пересек Атлантический океан.

Вдали еще мерцали последние огни Нью-Йорка. На широкой, грязной после погрузки палубе пассажиры переворачивали и опрокидывали чужие чемоданы и, наконец, найдя свои, молча расходились по каютам.

В ожидании, когда кончится эта суeta, Басаргин стоял у борта и курил папиросу.

– Рашен? – спросил его низенький, коренастый американский моряк, подойдя вплотную к нему и неопределенно указывая пальцем не то на самого Басаргина, не то на русскую папиросу, которую тот курил.

– Рашен, – ответил Басаргин, соображая, что вопрос относится, очевидно, к нему самому, а папироса была только признаком, по которому в нем узнали русского.

– Гуд! – сказал моряк и, расстегнув две верхние пуговицы своей рабочей куртки, запустил руку во внутренний карман.

Басаргин ждал, что будет дальше. Моряк, нагнув набок голову, все еще шарил в кармане. Голова у него была лысая, вся в мелких капельках пота, шея грубая, морщинистая и тоже потная. Наверное, это был кочегар или механик, только что выскочивший на воздух из своего машинного отделения.

Моряк между тем вытащил наконец из кармана старую черную записную книжку, открыл ее и, вынув оттуда маленькую засаленную карточку, молча сунул ее в руки Басаргину.

Басаргин надел очки и при мутном свете палубного фонаря с трудом разобрал русские буквы. Это была карточка мурманского донорского пункта. В ней было засвидетельствовано, что гражданин Пейдж Р.-Б. двадцатого сентября 1942 года сдал на пункте 400 граммов крови второй группы.

Моряк терпеливо ждал, пока Басаргин разберет полустершиеся буквы. Потом взял из его рук карточку и, глядя в глаза, деловито спросил:

– Ол райт?

– Ол райт, – ответил Басаргин.

Моряк вложил карточку в книжку, снова полез глубоко в карман, пристроил книжку на прежнее место, застегнул куртку и, протянув Басаргину руку, сказал:

– Бай.

– Бай.

Моряк быстро повернулся и исчез в узком корабельном коридоре.

Глядя на удалявшиеся огни Америки, Басаргин думал о том, что, встретиться ему этот моряк с донорской карточкой два года назад, он, наверное бы, очень растрогался и непременно, не один раз, восторженно рассказывал бы о нем. Он даже отчетливо представлял себе сейчас, что именно говорил бы он тогда:

– Америка? Американцы – прекрасные люди. Я, например, встретил одного американца...

Но сейчас, несмотря на трогательный поступок мистера Пейджа, Басаргин чувствовал в душе странный холодок. В последнее время он бесповоротно потерял способность умиляться. И, вспоминая моряка с карточкой донора, он теперь не сказал бы, что американцы – прекрасные люди; он скорее сказал бы, что они очень разные люди и, к сожалению, с такими, как этот Р.-Б. Пейдж, ему по характеру своей работы приходилось встречаться куда реже, чем он бы хотел.

По дороге в каюту, спускаясь по лестнице, Басаргин прошел мимо содрогавшейся железной стены машинного отделения. Там, где-то за этой стеной, стоял у своей форсунки Р.-Б. Пейдж; один из ста сорока миллионов американцев, и, должно быть, хороший парень.

Это было в первый день плавания. Следующие семь дней прошли почти незаметно. В баре довольно много и сравнительно тихо пили каждый день с шести вечера до двух ночи. По вечерам на носу, на верхней палубе, нестройным хором пели ехавшие в Европу американские студенты; на корме тоже по вечерам и тоже нестройно пели возвращавшиеся домой французы. Два раза были танцы под рояль. Упала за борт одна из бесчисленных собачек, которых везли с собой в Европу пожилые дамы всех национальностей. Дама требовала, чтобы спустили шлюпку. Но шлюпку не спустили. Кто-то бросил собачке круг, но она не сумела им воспользоваться и утонула.

В субботу служили мессу. Мимо Басаргина, сидевшего в шезлонге на средней палубе, медленно прошли двадцать католических монахинь в больших накрахмаленных белых чепцах; чепцы были похожи на галок, которых делают из бумаги мальчишки.

Басаргин вспомнил давно, еще до войны, читанные стихи Маяковского. Там тоже был океан, и пароход, и монахини – черные и одинаковые.

Когда же это было написано? Наверное, лет двадцать назад...

– Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова, – вслух сказал он. – Откуда это? Кажется, тоже из Маяковского.

Через Азорские острова он в сорок пятом летел в Америку, посадка на полтора часа, брекфест: яичница с беконом и кофе.

На горизонте почти рядом шли два парохода, по контурам похожие на тральщики. Может быть, тралят мины. Война кончилась, а суда все еще рвутся на минах.

В воскресенье, когда вдали уже виднелись берега Франции, к Басаргину подошел незнакомый человек и заговорил с ним по-русски.

– Моя фамилия Липатов, Иван Афанасьевич. Позвольте вас спросить – вы русский? Из России?

– Да, из России.

Басаргин облокотился на борт и выжидающе, но без особого интереса смотрел на собеседника. Обычно такие случайные встречи кончались расспросами о родственниках, оставшихся в России, – не знаете ли вы такого-то, он доктор и в 1915 году жил в Москве на Большой Бронной?

Но этот, Липатов, не задавал вопросов, а только с каким-то странно удивленным выражением лица сказал, обращаясь скорее к самому себе, чем к Басаргину:

– Вот как. Значит, вы русский...

И, ничего не прибавив, тоже облокотился на борт, продолжая глядеть на Басаргина.

Это был рослый человек лет пятидесяти, в очень старой, потертой замшевой куртке, в мятых вельветовых брюках и стоптанных ботинках. У него были коротко стриженные, начинающие седеть волосы и загорелое лицо. Бронзовому здоровому загару странно не соответствовали усталые, красные, словно от бессонницы, глаза и все время чуть-чуть подергивавшиеся губы, придававшие лицу несчастное выражение.

Примерно с минуту они оба стояли молча. Потом, отвернувшись от Басаргина и глядя в воду, его собеседник сказал глуховатым, надтреснутым голосом:

– Вы не думайте, что я беден: я фермер. Этот костюм – просто фермерская привычка. Перед отъездом я ассигновал себе деньги и купил несколько хороших костюмов и вообще все, что мне будет нужно. Я вечером переоденусь.

Басаргин молчал. Что он мог сказать в ответ на эти слова? Липатов тоже молчал. Через минуту он снова заговорил, по-прежнему продолжая глядеть в воду:

– Я фермер. Я сейчас имею довольно много денег. Тридцать тысяч. Мы хорошо зарабатывали во время войны.

Он снова замолчал и через минуту добавил тем же тоном:

– У меня умерла жена.

– Когда?

Липатов повернулся к нему:

– Два месяца назад.

Его подергивавшиеся губы, казалось, хотели произнести еще что-то, но вместо этого он вынул из кармана скомканный платок и, не развертывая, торопливо вытер лицо, мокрое от брызг.

Басаргин взглянул на его руки – это были большие, темные, потрескавшиеся руки крестьянина.

– У вас в России какие сейчас породы коров? – вдруг спросил Липатов.

– Не знаю. Я – городской человек.

Басаргин в самом деле не знал этого.

– У меня восемнадцать коров, – сказал Липатов. – Я вожу молоко в Детройт на своем каре, сам. У меня грузовой кар. Последнее время мы с Надей все делали сами, почти не спали. Очень дорого было нанимать людей. Так и не знаю, отчего она умерла. В шесть дней. Я два раза привозил профессора из Детройта. Говорят, у вас в России сейчас хорошие врачи?

– Да.

– Я знаю. Я читал.

Он оторвался от перил и подтянул свои мятые штаны таким жестом, как будто собрался уходить.

– Вы, может быть, хотите в бар?

– Нет, не хочу, – сказал Басаргин.

– Я тоже не хочу. Я спросил для вас, может быть, вы хотите. Я вчера услышал, как вы говорили по-русски. С тех пор как Надя умерла, я ни разу не говорил по-русски. Мне просто хотелось с вами поговорить.

– Ну, что ж, поговорим, – сухо сказано Басаргин и сейчас же пожалел об этом.

У Липатова дернулись губы.

– Только вы не подумайте, – торопливо сказал он. – Мне ничего не нужно, ровно ничего, я просто – поговорить.

– Я понимаю, – сказал Басаргин. Он ждал, что Липатов опять заговорит о своем костюме и о том, что у него есть тридцать тысяч. Ему пришло в голову, что это упоминание о тридцати тысячах раньше рассердило или рассмешило бы его, но сейчас, когда он не из книг, а из жизни знал, что независимость в этой стране приходит и уходит вместе с деньгами, вечные упоминания о деньгах уже не удивляли и не раздражали его.

– Я женился в Константинополе, – сказал Липатов. – В Константинополе, – вздохнув, повторил он. – На женщине такой же простой, как и я, и так же случайно попавшей в эмиграцию. Я хочу вам рассказать свою жизнь. Ничего особенного и, может быть, даже глупо, хотя у меня сейчас и есть тридцать тысяч долларов.

«Все-таки еще раз напомнил об этих тридцати тысячах», – беззлобно отметил Басаргин.

– Я плавал механиком на Черном море. Пароход реквизируют в Одессе французы, а потом угнали в Константинополь...

Так начался этот длинный и сбивчивый рассказ. Потом Басаргин вспоминал о нем со смешанным чувством не то обиды за этого человека, рассказавшего ему свою жизнь, не то обиды на жизнь, в которую попал этот человек, жизнь, где кругом было так много хороших автомобилей, лифтов, холодильников, квартир и в то же время внутри которой, несмотря на окружающее изобилие, неизменно присутствовало что-то неуловимо безнадежное для человечества.

В 1920 году Липатов с женой приехал в штат Мичиган и нанялся работать на ферму в ста милях от Детройта. В 1923 году он накопил денег и приобрел маленькую ферму; Детройт еще разрастался, и земля в штате Мичиган была сравнительно дешева. Через три года, в 1926 году, к Липатову на ферму в первый раз пришли гости – соседи.

Липатов рассказал об этом Басаргину с оттенком обиды на черствость и холодность американцев. Но Басаргин, перебирая в памяти все свои встречи с американцами, в душе не согласился с Липатовым. По его наблюдениям, американцы не были ни черствы, ни холодны, верней всего, подумал он, людям, жившим вокруг Липатова, не было ровно никакого дела до поселившегося рядом русского, который жил, как и они, сам по себе и сам по себе и для себя делал доллары.

– Да и через три-то года в гости зашли, наверное, случайно? – спросил Басаргин.

– Вот именно, случайно, – поддакнул Липатов. В вопросе Басаргина ему почудилось сочувствие к нему и осуждение американцев.

Но в словах Басаргина не было ни того, ни другого. Он просто подумал, что первые гости могли прийти к Липатову на двадцать четвертый год с таким же успехом, как и на четвертый, и могли вовсе не прийти, потому что в тех условиях, в которых жил Липатов, его связывали с человечеством, в сущности, только бидоны с молоком, которые он отправлял в Детройт и за которые получал свои доллары.

Если бы Басаргин высказал вслух пришедшие ему в голову мысли, наверно, Липатов обиделся бы и прервал разговор, но Басаргин промолчал, и Липатов продолжал рассказывать.

До 1929 года он хорошо зарабатывал, с 1929 по 1934 год был кризис, и стало хуже. Потом дела снова улучшились. А в 1941 году цены так поднялись, что за пять лет Липатову удалось положить в банк тридцать тысяч долларов. Он как раз вернулся с телеграфа, где перевел на свой банковский счет тридцатую тысячу, когда жена впервые пожаловалась, что ей нездоровится.

О болезни жены Липатов рассказал очень коротко и сухо. И хотя его ужасно дергавшиеся губы свидетельствовали, что каждое воспоминание о ее смерти составляет для него невыносимую муку, но если бы закрыть глаза, не видеть его лица и не вдумываться в смысл его слов, то можно было бы предположить, что он говорит о чем-то самом обыденном: о коровах, бидонах, ценах на молоко.

Странная вещь – русская речь Липатова состояла из необычайного сочетания слов, произносимых легко и привычно, и слов, произносимых с трудом и не всегда правильно. Первые слова были: хлеб, молоко, пришел, ушел, деньги, обед, соседи, дом. Вторые слова... вторых слов было немного, и когда Липатов, вспоминая о похоронах жены, сказал: «У меня было такое одиночество, что хотелось вынуть из себя душу», – то эту фразу он собирал мучительно долго, по одному слову, как будто нырял за каждым в глубокую воду смутных юношеских воспоминаний.

Басаргину почудилось, что, может быть, эти два человека – Липатов и его жена, работая и богатея, были настолько поглощены этим, что не имели времени говорить друг другу тех слов, которые они произносили в молодости, а говорили только слова: хлеб, молоко, пришел, ушел, деньги, обед, соседи, дом. И Липатов забыл все остальные русские слова; и только сейчас его потрясенная душа где-то на самом дне мучительно находила их, почти неживые, отмершие.

Липатов ехал во Францию; там жила старшая сестра его жены. Он не получал от нее писем восемь лет, а не видел ее двадцать. Может быть, она даже умерла – он не знал, но, в сущности, ехал только затем, чтобы увидеть эту немолодую и, в общем, чужую ему женщину и привезти ее к себе на ферму. Это родство, давно успевшее стать условным, сейчас, после смерти жены, оказалось единственной ниточкой, связывавшей его с человечеством.

– Как вы думаете, – спрашивал он у Басаргина, – как, по-вашему, она жива?

И Басаргин чувствовал, что этот вопрос был для Липатова сейчас самым важным в жизни.

– А вдруг она не захочет ехать? – спросил Басаргин.

– Я уговорю ее! – почти с отчаянием воскликнул Липатов. Тут было все – и ферма, окруженная стомильной зоной одиночества, и смерть жены, и ужасная бессмыслица бездетности, – только все это, вместе взятое, могло так неотвратимо швырнуть человека через океан на поиски другого человека, песчинку – на поиски песчинки.

– Вот ее последнее письмо, – сказал Липатов. – Я получил его в тридцать девятом году, она жила тогда в Дижоне. А сейчас ее там нет.

Он вытащил из кармана квадратный целлулоидный пакет. Там лежал листок, сквозь целлулоид казавшийся желтым и древним. И по тому, как Липатов держал этот пакет, Басаргин понял, что это не просто последнее письмо от старшей сестры его жены, а последний услышанный им человеческий голос, последнее, что связывало Липатова с людьми. Раньше на всем свете для него существовала только его жена, теперь, когда она умерла, он вспомнил, что на свете существует еще ее сестра. И это было для него всем человечеством.

О существовании же другого человечества среди той жизни, которую он вел, он давно и навсегда забыл.

– Так вы думаете, она жива? – повторил Липатов.

– Почему же, конечно, – с некоторым колебанием сказал Басаргин.

– Вот за это спасибо вам, спасибо, спасибо! – стиснул ему руку Липатов. Губы его задергались так сильно, что Басаргину показалось, что он сейчас заплачет.

Но Липатов не заплакал, а только, отпустив руку Басаргина, опять, как в первую минуту встречи, обвел его долгим взглядом своих усталых красных глаз и, больше не прибавив ни слова, повернулся и пошел вдоль качавшейся палубы.

Пароход подходил к гавани. Впереди на длинном молу виднелись низкие серые форты Шербура. Был тот томительный час перед концом путешествия, когда еще рано складывать вещи и уже поздно заниматься чем-нибудь другим.

Глядя на приближавшийся берег Франции, Басаргин думал о том, пришел ли уже в Шербур пароход «Донбасс», на котором он должен был плыть дальше, в Ленинград. Но мысли его невольно возвращались к только что оборвавшемуся разговору. Было в этом разговоре что-то, подействовавшее на его душу сильнее, чем все заграничные впечатления последних лет.

Так бывает в отношениях с людьми: человек тебе, в общем, давно не нравится, раздражает то тем, то другим, временами кажется то лучше, то хуже, но он тебе все еще не до конца ясен. И вдруг однажды с его уст срывается неожиданное и безобразное слово – и ты понимаешь, кто он, сразу и навсегда.

Липатов и был как раз этим последним и неожиданным безобразным словом, посланным уже вдогонку, на пароход, из того мира, откуда Басаргин возвращался на родину.

Липатов был вовсе не так плох сам по себе; скорее, наоборот: рассуждая с житейской точки зрения, он был безобидным и, может быть, добрым человеком, но безобразие мира, в котором он жил, обрело в нем такую законченную форму, какой Басаргин еще до сих пор не видел.

Одиночество иностранца в чужой стране, и бездетность, и смерть жены, и отсутствие вокруг людей, говорящих на родном языке, – каждое из этих обстоятельств само по себе было случайностью, но все это, взятое вместе и соединенное в жизнь Джона Липатова на ферме в штате Мичиган, в ста милях от Детройта, – уже не было случайным одиночеством среди общности других людей. Нет, это было только гиперболой одного человеческого одиночества среди миллионов других человеческих одиночеств.

Если бы сейчас Басаргина попросили ответить двумя словами на вопрос, что такое жизнь там, за границей, он бы, не задумываясь, сказал: «Миллион одиночеств».

– Да, именно миллион одиночеств, – повторил он вслух, глядя на приближавшийся берег, и вдруг вспомнил один случай из своей юности.

Это было в тридцатом году на Сталинградском тракторном заводе. Басаргин сломал американский станок, и на общем цеховом собрании бригадир, фамилию которого Басаргин давно забыл, свирепо швырнув на пол кепку, крикнул: «Мы обязаны работать как звери, потому что кругом капиталистический мир, и мы в одиночестве».

Сейчас, вспомнив эту запальчивую юношескую фразу, Басаргин усмехнулся несоответствию двух стоявших в ней рядом слов: «одиночество» и «мы».

Мы! Как слабо, не до конца он чувствовал, что это такое, находясь внутри этого советского «мы». Неужели для того, чтобы до конца понять это, непременно нужно было чужое море, чужое небо, чужой пароход и разговор с чужим и несчастным человеком, давно забывшим, а верней всего, никогда и не знавшим истинного смысла этого слова?

Пароход швартовался. Окинув взглядом бухту, Басаргин заметил стоявший в полумиле на якоре невзрачный танкер, на корме которого было выведено потемневшими золотыми буквами: «Донбасс».

Через два часа, с чемоданом в руке поднимаясь из шлюпки по трапу на «Донбасс», Басаргин увидел веселую обветренную физиономию вахтенного и, невольно улыбнувшись, спросил:

– Ну, как живете?

– Мы? Лучше всех! – ответил вахтенный и тоже улыбнулся.

И вот уже двадцать дней, как Басаргин был опять внутри этого, вновь обретенного «мы».

«Мы» – был и этот поезд, бежавший через холодные просторы Смоленщины, и сами эти зимние просторы, и пятнистые избушки, выстроенные пополам из нового и горелого леса, и пассажиры в купе, и старичок-кондуктор, и едущий «зайцем» тринадцатилетний мальчишка, которому утром Басаргин, не выдержав зрелища его лохмотьев, отдал свою фуфайку.

Да, вот именно в этом «мы» не было исключений. И мальчишка в лохмотьях был тоже «мы» – наше несчастье, наша послевоенная вопиющая и сразу не насытимая бедность.

Мальчишка не был просто случайно встреченным, плохо одетым и сегодня впервые за несколько дней как следует накормленным ребенком; он был общей бедой, над которой так или иначе бились все пассажиры вагона: и инженер с женой, сидевшие на нижних полках, и их сосед по купе – грузный человек в кожаном пальто – директор совхоза, и стоявший в коридоре с папиросой в зубах полковник-связист, и сам Басаргин.

Отданная фуфайка, конечно, была пустяком, случайностью, этой случайности могло и не быть. Но последняя тысяча долларов, выторгованная месяц назад у фирмы «Армстронг энд Бразер» в Нью-Йорке, уже не была случайностью. Эта тысяча долларов имела хоть и далекое, но прямое отношение к судьбе мальчишки.

Басаргин сейчас вбирал в себя все окружающее с той особенной силой новизны, которая порождается отвычкой. Незаметное и неважное перестало существовать. Все было заметным и важным, – и пейзаж за окном, и продолжительность стоянок, и немцы с лопатами, работавшие на ремонте путей, и разговоры соседей, то вспыхивавшие, то погасавшие всю дорогу.

Сейчас инженер и его жена спорили о каком-то Сергее Петровиче, бывшем начальнике строительства, где работал инженер.

Жена заступалась за Сергея Петровича, муж нападал на него.

– И очень правильно, что сняли! – говорил он.

– А вот и неправильно. Его все знают, он целым партизанским соединением командовал.

– Ну и что ж, что командовал? А строительство завалил – вот и сняли.

– И все-таки неправильно, – упорствовала жена. – Он герой и к тому же очень хороший человек.

– Дамские разговоры. Я тоже могу завтра все свои пять орденов нацепить и прийти на стройплощадку с ними вместо цемента, который от меня ждут. Интересно, что мне на это скажут? Хороший я или нехороший?

– Ну, ты-то уж во всяком случае хороший, – попробовала отшутиться жена, но муж не захотел даже заметить этого.

– И еще мне интересно, – сердито продолжал он, – что бы ты сама сказала, если бы твой директор больницы вдруг заявил тебе, что нет у него медикаментов, нет и не будет, не достал. Наверное, простила бы его, как бывшего фронтовика, а?

Жена молчала.

– Вот то-то и оно, – с иронией заключил муж. – Как вообще судачить, так мы все очень добрые, а как до своих беспорядков дойдет, такая добрая, как ты, как раз первая душу и вынет. Так, что ль, аграрник? – подмигнул он сидевшему на верхней полке толстому директору совхоза.

– Совершенно верно, – серьезно ответил тот и обиженно добавил: – А особенно женщины теперь, после войны. Даже если что просто по пьяному делу упустил, все равно не считаются. Раньше смягчались, а теперь нет. Крови требуют.

– Ну, уж и крови! – улыбнулась жена инженера.

– Именно, – подтвердил директор совхоза. – Вот взять хоть меня...

Но Басаргину так и не удалось дослушать эту историю. В открытую дверь купе заглянул старичок-проводник и сказал, что если кому слезать в Пухове, то Пухово через пять минут.

Разговор прервался. Басаргин снял с верхней полки чемодан, огляделся – не забыл ли чего, и, заметив под подушкой пестрый номер «Кольерса», купленный в день отплытия на нью-йоркской пристани, хотел сунуть его в карман, но журнал выскользнул и упал на пол.

Инженер поднял его, чтобы передать Басаргину, но фотография на раскрытой странице задержала его внимание. Он постоял несколько секунд, внимательно разглядывая ее, и, протягивая Басаргину журнал, спросил – не может ли тот объяснить, что здесь изображено.

В «Кольерсе» была сфотографирована последняя забавная сенсация Нью-Йорка – молодая парочка венчалась на выступе крыши, стоя на цыпочках, на ободке флагштока и вцепившись во флагшток руками. Священник посылал им благословение снизу, с мостовой.

Басаргин добросовестно перевел инженеру и его жене подпись под фотографией. В ней были названы фамилии новобрачных и сообщалось, что это первый в истории Соединенных Штатов случай венчания на флагштоке.

В купе все молчали. Поезд уже начал замедлять ход перед станцией. Басаргин надел пальто и шляпу.

– Зачем они это? – сказала жена инженера.

– Что, – так венчались?

– Да. Стыдно просто. Что же редактор смотрел? Есть же там у них редакторы?

– Есть, – сказал Басаргин и вдруг понял, что этот вопрос, в первое мгновение показавшийся ему наивным, был совсем не наивен. Это был естественный вопрос одного мира, обращенный к другому.

Было что-то невыразимо постыдное для послевоенного человечества в этой напечатанной на сверкающей дорогой бумаге крикливой и вздорной фотографии. Она выглядела особенно позорно здесь, среди ледяных полей, усеянных бесчисленными могилами, среди выжженных деревень и курящихся из-под снега землянок.

– До свидания, товарищи!

Басаргин с непонятным для них волнением пожал руки соседям и, взяв чемодан, пошел к выходу.

Глава вторая

На платформе было пустынно. Несколько человек сошло с поезда, несколько человек вошло в вагоны. Басаргин подождал минуту-другую. Его никто не встречал, – должно быть, телеграмма шла из Москвы медленнее, чем поезд.

С досадой вспомнив математическую точность американского телеграфа, он взвалил чемодан на плечо и пошел в обход поезда к вокзалу. Он дошел уже почти до конца платформы, когда паровоз свистнул и вагоны медленно, враскачку поехали мимо.

Басаргин терпеливо ждал; в просветах между вагонами все быстрее и быстрее мелькало что-то тревожно незнакомое, и, наконец, за последним подпрыгнувшим на стыке вагоном открылся разом весь горизонт.

К единственной уцелевшей кирпичной стене старого вокзала был пристроен дощатый барак с вывеской: «Пухово, от Москвы 252 километра».

Окна в бараке были, впрочем, большие, с двойными рамами, за одним виднелись даже горшки с цветами. Над дверьми барака можно было прочесть все надписи, которым положено иметься на вокзале: «Телеграф», «Дежурный по станции», «Буфет», «Кипяток», «Медпункт».

До войны двухэтажное здание вокзала заслоняло вид на город. Но сейчас, поверх низкой крыши барака, город, расположенный на двух пологих горушках, был виден как на ладони.

Это был совсем другой город, чем тот, к виду которого с детства привык Басаргин.

На пологих склонах обеих горушек стояло несколько сот, а может, и до тысячи новых рубленых изб и засыпных домиков. Построено все это было вразброс, с промежутками, словно каких-то главных строений еще не хватало и для них оставили место.

Дом сестры, как знал из писем Басаргин, стоял на Покровской улице за номером восемнадцать, но сейчас, когда он попробовал прикинуть глазом, где бы это могло быть, сначала ничего не разобрал: отсутствовали привычные приметы – каланча, клуб, четырехэтажный дом универмага. Только заметив торчавшую из-за горушки трубу знаменитой Пуховской мануфактуры, а за ней – каменное здание железнодорожной школы, где он когда-то учился, Басаргин сообразил, в какую сторону надо идти.

Он соскочил на рельсы, взобрался на другую платформу и уже подошел к двери барака с надписью: «Дежурный по станции», намереваясь пристроить здесь чемодан, как вдруг из-за угла вывернулась полуторка и из кабины выскочил ничуть не изменившийся здоровенный, краснолицый Григорий Фаддеич Кондрашов – муж старшей сестры Басаргина, Елены.

Он обнял Басаргина, расцеловал его холодными губами, отодвинул, рассмотрел и сказал то самое, что и прежде, до войны, всегда говорил при встречах:

– В баньку хочешь?

– Хочу, – сказал Басаргин, даже зажмурясь от удовольствия.

– Нету баньки, только еще строим, – весело хохотнул Григорий Фаддеич, – в кухне будешь в тазу мыться. Елена тебе уже воду кипятит.

– Когда телеграмму получили?

– А полчаса назад. Все в разгоне. Катерина твоя в Смоленске на медицинской конференции, завтра утром пятичасовым будет. Мать на экскурсию с пятиклассниками ушла, я уже за ней свою Лидку послал. Гришка дома, сидит на диване, тебя ждет.

Басаргин был так огорошен тем, что встреча с Катей откладывается до завтра, что даже не сразу сообразил, что этот сидящий на диване Гришка – его собственный сын, которого он сейчас увидит впервые в жизни.

– Поехали. – Григорий Фаддеич, одной рукой подняв большой чемодан, легко перекинул его в кузов полуторки.

– Еще силушка по жилушкам погуливает, – сказал он самодовольно.

Он и в самом деле удивительно не переменился за эти шесть лет. Даже черный полушубок нараспашку был на нем тот же самый, что он носил до войны, и все та же вытертая ушанка сидела набекрень на его багровой бритой голове.

– То-то и оно-то, – сказал он, перехватив взгляд Басаргина. – Старое донашиваем, а не тужим! А у тебя шляпа хорошая. Сколько отдал?

– Пятнадцать долларов.

– В Нью-Йорке купил?

– Да.

– Ничего шляпа. Поехали.

И он полез в кабину на шоферское место.

– Сам водишь? – спросил Басаргин.

– А что же, мы плоше твоих американцев, что ли? – хохотнул Григорий Фаддеич. – На пятьдесят втором году жизни взял да выучился. Получил твою телеграмму – бегом в гараж – шофера по воскресному делу нет. Крутанул за ручку разов двадцать, и готово – поехал. Как в Нью-Йорке-то, такие морозы бывают?

– Нет.

– Весь март с двадцати не слезает. Много у нас осложнений с этим морозом. Им, чертям, ясно, легче строить при ихнем климате. Садись!

– Подожди, – сказал Басаргин.

Взявшись рукой за борт грузовика, он задумчиво оглядел город. Странное оцепенение охватило его. Только сейчас он почувствовал до конца всю необыкновенность случившегося с ним: он вернулся на родину. Он страстно любил ее оттуда, издалека. Любил ее как коммунист, стоявший у власти в этой стране и бывший в ответе за ее судьбы, и как русский, гордый тем, что именно его Россия стала колыбелью революции. Это была сильная и зрелая любовь взрослого, много испытавшего и много думавшего человека. Но сейчас он с особой остротой испытывал и другое чувство – оно было неясным, но тоже удивительно сильным, как первые воспоминания детства, как один и тот же повторяющийся сон, как желание уткнуться голову в материнские колени.

Басаргин смотрел на снежные поля, на белые холмы, там и сям застроенные домишками, на поредевшую, изрубленную снарядами рощу у станции, на медленную санную дорогу, уходившую за горизонт, смотрел как замороженный, силился и не мог оторвать взгляда.

– Чего ты? – спросил Григорий Фаддеич.

– Ничего, – сказал Басаргин. И, сев в кабину, захлопнул дверцу. – Поехали.

Вымытый и раскрасневшийся Басаргин сидел за обеденным столом в жарко натопленной комнате. Замешкавшаяся Елена все еще собирала на стол, а Григорий Фаддеич, сдерживаясь, чтобы не сделать ей замечание, недовольно крутил на пальцах маленькие янтарные четки. Четки эти, никак не шедшие к его толстым красным рукам, Басаргин помнил у него лет двенадцать, с тех пор как Григорий Фаддеич бросил курить.

На диване, отвалиясь к спинке и растопырив короткие ножки с исцарапанными голыми коленками, спал сын Басаргина – Гришка. Лицо его и во сне сохраняло то недовольно-удивленное выражение, с которым он час назад принимал поцелуй отца. Его слишком затормозили, он устал и теперь спал сердитый, большой и толстый – неизвестно в кого.

– Хорош! – сказал Григорий Фаддеич. Племянник ему нравился. Он вообще любил все большое, приметное: крупных пышных женщин, здоровых, шумных детей, дюжих и

горластых, как он сам, мужиков. Он называл это породой и выговаривал это слово могуче, с грохотом: – Пор-р-рода!

Басаргин улыбнулся, вспомнив Катю, и заодно невольно глянул на себя в висевшее напротив зеркало. Он был жилист, но невысок и худощав.

– Чего улыбаешься? – склонив набок голову, спросил Григорий Фаддеич. – Не о вас одних речь. Русская у него порода!

Елена внесла графин и тарелки с закусками. Графин она поставила не посреди стола, а возле мужа, так, чтобы ему было с руки разливать, и, порозовевшая, задохнувшаяся от беготни, со вздохом опустилась на табурет между мужем и братом.

Наступило молчание. Брат и сестра, не стесняясь, разглядывали друг друга.

Пшеничные волосы Басаргина, еще мокрые после мытья, кучерявились, как в юности, а из-под расстегнутой на груди белой сорочки виднелась детская татуировка – стрела и сердце, и от этого он казался сестре совсем молоденьким, прежним и возбуждал материнскую нежность.

Елена постарела, но все еще была красива ленивой отцветающей доброй красотой. Высокая, полная и статная, с тихим румянцем на лице, она была из тех русских женщин, которых долго не портят ни полнота, ни годы и красота которых порой заметней в сорок, чем в двадцать.

– А ты, Леночка, стала еще красивее, – сказал Басаргин, и она покраснела от удовольствия, почувствовав по его голосу, что он сказал от души.

– Ну как, родительскую водку будешь пить, американец? Или отвык? – спросил Григорий Фаддеич, берясь за графин.

– Нам иногда присылали для приемов.

– Очистка хромает, – огорченно сказал Григорий Фаддеич, – сивухой отдает, мандариновыми корками отбиваю.

Он налил три большие стопки, приложив к горлышку графина вилку, чтобы не проскочили корки.

– Первую – за Гришкино здоровье! – предложил он, во второй раз посмотрев на спящего Гришку.

Это тронуло Басаргина.

– Спасибо тебе за поддержку, – кивнув на сына, сказал он и чокнулся.

– Не стоит благодарности. Живем ничего.

Григорий Фаддеич подмигнул на заставленный закусками стол и выпил всю стопку. Елена тоже выпила свою и уголком салфетки вытерла губы. Басаргин улыбнулся. Елена переняла эту повадку от матери: в первый раз выпить, сколько нальют, по-мужски, до дна, а потом уже ничего не пить, не поддаваясь ни на какие уговоры. Сам он выпил половину и с хрустом закусил соленым, сводившим челюсти огурцом.

– Не по-нашему пьешь, американец! – сказал Григорий Фаддеич, напирая на слово «американец».

И Басаргин, вспомнив его давнюю привычку окрещивать людей прозвищами, улыбнувшись, подумал, что теперь это, наверное, на весь день.

– Или, может, ты ихний виски предпочитаешь?

– Нет, почему же.

– А по правде сказать, наверное, большая дрянь – этот ихний виски? – наклоняясь к Басаргину, доверительно, как о государственной тайне, спросил Григорий Фаддеич.

– Как тебе сказать? К закуске не идет, а если, как американцы пьют, натошак – ничего; пожалуй, даже лучше, чем водка.

– Э, брат! Да ты совсем обамериканился! Где же твой патриотизм?

Басаргин, разом вспомнив все заграничные, раздражавшие его разговоры на эту тему, промолчав, отвел глаза, и Елена вдруг заметила на его лице новое, непривычно жесткое выражение.

– Ладно, бог с тобой, не буду критиковать, – сказал Григорий Фаддеич, наливая себе вторую, – закуси-ка вот холодцом, сразу на другую потянет... А где ж поросенок? – вскинулся он на Елену.

– Какой поросенок?

– А тот, что Ковригин прислал.

– Одна голова осталась. Я решила, неудобно подавать.

– Тащи, тащи! Что ж, что голова? Поросячьи уши – самое дорогое.

Елена вышла, и он, подмигнув ей вслед, добавил:

– Брат, брат, а поросенка зажала! Строитель! – улыбнувшись, ткнул он себя толстым пальцем в грудь. – То тот, то другой меня вспомнит. Всем нужен. Ехали – видел, какое кругом пепелище?

– А ты цветешь среди него? – сказал Басаргин, задетый этой случайно, но выразительно подчеркнутой связью между поросенком и пепелищем.

– Цвету? – переспросил Григорий Фаддеич, уловив в его голосе иронию. – Я не герань. Я на этом пепелище тысячу домов отгрохал.

Но, передумав и решив не сердиться, расхохотался.

– А цвету я по совместительству, в свободное время.

С минуту они оба молча управлялись с холодцом.

Нарушила молчание возвратившаяся к столу Елена.

– А правда, пишут, что там, в Америке, негров вешают?

– Как же, на каждом перекрестке висят! Начиталась! – усмехнулся Григорий Фаддеич.

– На каждом перекрестке не висят, – сказал Басаргин, – но в Южных штатах, случается, вешают.

– Аню Климашину немцы повесили. Ты за ней ухаживал. Помнишь? – сказала Елена.

– Помню.

Мать два года назад написала об этом Басаргину, но вспомнить и особенно представить себе это сейчас заново было страшно и тягостно.

– Буде вспоминать-то! – недовольный оборотом разговора, вставил Григорий Фаддеич. – Было и быльем поросло.

– Нет, надо вспоминать, – сказал Басаргин.

И сестру во второй раз поразило непривычно жесткое выражение его лица.

– Надо вспоминать, – повторил он. – Американцы за нас не вспомнят, а немцы рады забыть.

– Что же, их теперь резать за это, немцев-то? – спросил Григорий Фаддеич. – Была война, не жалели. А теперь мир. Старая злость душу портит. Человеколюбие надо иметь.

– Конечно. Но человеколюбие – это как раз все помнить. Чтобы не повторять. А те, которые спешат все забыть, – не гуманисты, а страусы.

– Спасибо, что в страусы записал.

– Пожалуйста.

– Конечно, сидим в своем углу, не путешествуем, – сердито крутанув на пальцах четки, сказал Григорий Фаддеич. – Газеты, правда, читаем, за конференциями следим, но, видимо, чего-то недопонимаем.

– Видимо, недопонимаете. – Басаргин на секунду закрыл глаза, с отчетливостью забываемой обиды снова вспомнил разговор в нюрнбергском баре о семи миллионах убитых.

– Вот, например, два года назад, – сказал он и описал сцену в баре так, как она ожила в его памяти.

Григорий Фаддеич и Елена сидели молчаливые, присмирившие. Перестав крутить четки, Григорий Фаддеич склонил голову набок, и Басаргину казалось, что он не столько слушает, сколько старается проникнуть в то значительное и опасное, ради чего вспомнил об этом случае Басаргин. Это было и в самом деле так, потому что, когда Басаргин кончил и замолчал, Григорий Фаддеич откинулся на спинку стула и спросил тревожно и глухо:

– Неужто снова будет война?

– Будет, если...

– Что если?

– Если они попробуют сделать так, чтобы в мире снова были не две системы, а только одна – капитализм. Если они ради этого начнут воевать против нас. А мы не уступим и не сдадимся, мы тоже будем воевать. Вот и все. Очень просто.

– Пятьдесят три года мне, – сказал Григории Фаддеич. – Многовато.

– Что?

– Три войны на одну судьбу. Многовато. Жирно. Я не жадный, с меня и двух бы хватило.

– Тебя не спросят.

– А жаль. Меня б спросили, я бы сказал: одна система, две системы, войны больше быть не должно – вот что! Не имеет права быть. Любой ценой! Потому что скажу: хороша система, да мертвому мне она ни к чему... Ну, что смотришь? – вызывающе крикнул он Басаргину. – Думаешь, только тебе смею это сказать? Хотя все Политбюро против меня здесь посади – и им бы сказал, прямо в глаза глядя!

– Не сказал бы.

– Сказал бы!

– Нет. Мне говоришь, и то глаза отводишь... Говоришь: любой ценой! Это что же, значит – руки поднять? Или на колени стать? Или все разом? Или как?

– Не знаю, – обмякнув и опустив голову на руки, сказал Григорий Фаддеич. – Не знаю. Я ведь не сволочь какая-нибудь. Год на передовой был. Только у меня погиб.

Он поднял голову, и слеза медленно прокатилась по его щеке.

– Бросим этот разговор. Возьми котлету, а то стынут, видишь, Елена косится. Ну что, налить, что ли, еще по одной?

– Налей.

Григорий Фаддеич налил, и они стали есть котлеты.

– Рассказал бы, как тут все у вас, – сказал Басаргин.

– Что же рассказывать? Елена небось тебе все изобразила.

В самом деле, пока Басаргин мылся, в кухне, стоя в одном тазу и черпая горячую воду из другого, Елена, стоя по другую сторону приотворенной двери, рассказывала ему разные семейные новости. Мать с сентября работала заведующей учебной частью в той самой железнодорожной школе-семилетке, где когда-то учились и Басаргин и сама Елена; младший брат Елены и Басаргина – Шурка – должен был днем приехать из Смоленска. «Ну, он о себе и сам доложит», – с кольнувшей Басаргина ноткой неприязни в голосе сказала Елена. Иван, старший сын Елены, с этой осени, так же как и Шурка, жил в Смоленске. Младший, Егор, перешел в седьмой класс – сегодня был на лыжной вылазке. Самая младшая, Лида, пошла за бабушкой.

– Без нее не воротится. Упрямая, не в отца, не в мать, – в дядю, наверное, – сказала Елена и стала разливать из кастрюли по стаканам компот. Завтрак, по ходу дела превратившийся в обед, заканчивался.

Басаргин откинулся на спинку стула и, пока Елена разливала компот и раскладывала по блюдам чайные ложечки, на минуту закрыл глаза.

Услыхав еще на вокзале, что увидит жену только завтра в пять утра, он, пораженный этим известием, пока запретил себе не только разговаривать, но и думать о Кате. Но сейчас

оказалось достаточно всего минуты молчания для того, чтобы мысль о предстоящей встрече целиком овладела им.

На стенных часах пробило два. Он увидит ее только через пятнадцать часов. Вся его многообразная тоска по родине, а вернее, любовь, превращенная в тоску расстоянием, сейчас сосредоточилась на одной Кате. Он думал о ней, и ему хотелось, не стыдясь своей любви, забросать людей, сидевших с ним рядом, тысячью вопросов. Как она? Что она? Как она выглядит? Где она спит? Где ее место за этим столом?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.